

ФИЛОСОФИЯ

УДК 930:01, 930:02

Д.А. Аникин, А.А. Линченко

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ФРОНТИРА: В ПОИСКАХ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и ЭИСИ № 20-011-31600.18-511-00001.

В контексте идей Б. Бевернажа и Ф. Тернера были осмыслены пространственно-временные аспекты содержания мемориальных войн. Выявлено, что кризис глобалистского проекта политики памяти и перенос немецкой модели виктимизации на территорию восточноевропейского фронта приводит к конкуренции жертвенных нарративов и эскалации мемориальных конфликтов, превращающихся в полноценные мемориальные войны.

Ключевые слова: фронтир; политика памяти; мемориальные войны; символический ресурс; конфликт; войны памяти; аллохронизм; историческая несовременность.

Проблемы теоретического осмысления понятия «войны памяти»/«мемориальные войны» привлекают все большее внимание исследователей в связи с актуальными политическими процессами в современном мире и связываются в первую очередь с ростом информационного противостояния вокруг интерпретации событий Второй мировой войны, а также трансформацией базовых подходов к проекту общеевропейской культурной памяти [1. С. 224]. Особую сложность осмыслению проблемы мемориальных войн добавляет также их статус, рассматриваемый одновременно как в модусе конфликта ценностей, так и конфликта интересов [2. С. 4]. При этом всякий, кто обращается как к теоретическим, так и практическим вопросам осмысления конфликтогенного характера политического использования прошлого не может не учитывать трансформацию самих войн в последние десятилетия.

В этой связи российский исследователь А.Д. Куманьков указывает на целый ряд изменений самого категориального аппарата понимания войн: пространства и времени войн, субъектов и объектов военного противостояния, материального и идеального содержания военных действий [3]. В частности, трансформации практик ведения войны после 1945 г. анализируются им в контексте изменения самого пространства войны, где театром военных действий может оказаться любая территория, включая территорию нейтральных стран. Однако изменения наблюдаются и в темпоральном измерении войны, где на место классической периодизации войны (причины войны, подготовка войны, повод, состояние войны, завершение войны) приходит проблематичность каждого из ее этапов. Например, как отмечает А.Д. Куманьков, важной чертой современных войн оказывается именно сложность их окончания, когда период установления мира может затянуться на годы и десятилетия. Мы также можем видеть изменения и в отношении категорий субъекта и объекта войны, когда в условиях «приватизации насилия» стремление вести войну оказывается связанным не с государствами, а с различными негосударственными субъектами (террористы, корпорации, частные военные компании), а также

самого объекта войны, который связывается не только с захватом территории, но и с «наведением порядка», «гуманитарной интервенцией», «принуждением к миру», «антитеррористической операцией». Как показывает К.А. Пахалюк, во всех этих случаях традиционное деление на комбатантов и некомбатантов оказывается не менее проблематичным, что в полной мере соответствует дискурсу постгероических обществ [2. С. 14].

Наконец, значительными представляются изменения и в отношении материального и идеального измерения войны, когда сегодня уверенно говорят о гибридных войнах, информационных войнах, войнах как составляющих политики идентичности [3]. Как видится, все вышеперечисленные моменты, проблематизирующие теоретическое осмысление войн, оказываются значимыми и при обращении к мемориальным войнам. Можно с уверенностью утверждать, что мемориальные войны из расхожей метафоры превращаются уже в специальный термин, призванный отразить новую стадию эскалации конфликтов вокруг прошлого, которые все активнее разворачиваются как на международном, так и на внутривнутриполитическом уровне. Вместе с тем процесс концептуализации данного понятия сопряжен с выбором теоретического подхода, позволяющего вписать возникновение «мемориальных войн» в определенные методологические рамки. В рамках данной статьи авторы постараются наметить и описать указанные теоретико-методологические рамки, которые, на наш взгляд, наиболее продуктивно могут быть развернуты в рамках проекта политики времени Б. Бевернажа и понятия фронта Ф. Тернера.

Мемориальные войны как предмет философского осмысления: критика аллохронизма и идея фронта

На первый взгляд мемориальные войны являются разновидностью политического противостояния, когда общественные группы, сообщества памяти, официальные и неофициальные акторы используют конфронтационные образы прошлого в информационном пространстве с целью получения политических и эко-

номических выгод. В частности, известный отечественный исследователь Геннадий Бордюгов отмечает, что «войны памяти» могут происходить внутри одной страны или между разными странами <...> их запускает само разреженное прошлое после длительного сокрытия фактов, противоречивый процесс создания национальных историй, национальной культуры памяти, а еще – националистические движения и современные политические элиты, позволяющие себе инициировать в определенные моменты либо диалог по поводу истории в европейском масштабе, либо с ее помощью противопоставлять себя другим государствам, создавать конфронтационные образы» [4. С. 13].

Соглашаясь с позицией отечественного исследователя, тем не менее отметим, что мемориальные войны/войны памяти являются не только войнами настоящего, выступая инструментом решения актуальных политических задач, но и оказываются своеобразными войнами с прошлым. Последнее оказывается зримым не только в идеальном (критическая переоценка образов прошлого и моделей интерпретации исторических событий), но и в материальном измерении (войны памятников, переименование городов и улиц, целенаправленное изменение историко-культурного ландшафта территорий). Подобная ситуация требует дальнейшего прояснения именно категориального аппарата понимания мемориальных войн, ключевое значение среди которых приобретают категории пространства и времени.

Не будет преувеличением утверждать о понимании мемориальных войн как одного из аспектов символической политики. Современные отечественные и зарубежные исследователи подчеркивают важную роль темпоральности как свойства символического в политике [5. С. 13], использования прошлого как фактора «мнемонической легитимации» [6. Р. 26]. Однако в случае мемориальных войн речь идет не только о различных формах эксплуатации прошлого с целью получения политических выгод в настоящем, а об усложнении самого культурного времени политического взаимодействия, создающего новые формы присутствия прошлого в настоящем и настоящего в прошлом. И здесь уместно вспомнить именно Р. Козеллека, одной из главных заслуг которого как раз являлось обоснование проблематичности редуцирования исторического времени к времени физическому [7].

Отталкиваясь от идей Р. Козеллека, современный европейский исследователь Б. Бевернаж предложил обратиться к теоретизации политики времени как особой формы политического употребления дискурса, риторики и логики времени. При этом его идеи являются своеобразным ответом на исследования Й. Фабиана, главной идеей которого являлось обоснование перехода к идее «равенства людей во времени» и своеобразного «демонтажа» любых попыток постулировать неравенство людей и культур во времени как в политическом (геополитика), так и в научном (антропология) отношении. Данное неравенство во времени обозначается Й. Фабианом как идея аллохронизма и противопоставляется анахронизму как ошибочной репрезентации, выпадающей из темпоральности [8]. В отличие от него, Б. Бевернаж предлагает бороться с

аллохронизмом как в контексте деконструкции идеи равенства людей и культур во времени, а также понятия исторической современности. Для Б. Бевернажа любая политика времени (хронополитика), обращаясь к идее аллохронизма, предполагает пространственно-временное дистанцирование и служит политике господства [9. С. 177]. Он отмечает: «...аллохронизм происходит из отрицания равенства во времени и исторической современности не с необходимостью, но скорее в силу их особого понимания. То, что “Запад” относится к “Остальному миру” как отсталому, не обязательно проистекает из акцента на не-современности этого Остального, но скорее из идеологического позиционирования современности Запада, которая считается нормой или воспринимается как *эта* современность – я называю это “референциальной” исторической современностью. Только с точки зрения такой референциальной современности Другие могут быть охарактеризованы как “отсталые”, “до-исторические”, принадлежащие “прошлому”, или, наоборот, “передовые”, воплощающие “будущее” и т.д.» [9. С. 177]. Основной мотив Б. Бевернажа состоит в радикальном сомнении относительно актуальности подобной «референциальной» современности Запада. Он подчеркивает, что «вместо упразднения не-современности, которая характеризует связь между Западом и Остальным миром, следует акцентировать «внутреннюю» несовременность, которая характеризует Запад и Остальной мир как таковые» [9. С. 177]. При этом, по мысли зарубежного ученого, высказывание о том, что Другой находится в ином времени или историческом измерении, само по себе еще не является идеологическим. Таковым оно становится, когда некто заявляет, что Другой проходит более раннюю «стадию» нашей собственной истории/времени.

На наш взгляд, контуры проекта политики времени, намечаемые Б. Бевернажем, позволяют лучше понять природу современных мемориальных войн в Европе. Их истоки связаны с попыткой переноса на страны Восточной Европы после 1989 г. западноевропейского проекта «космополитической» памяти, где Западная Европа оказывается своеобразной «референциальной» рамкой исторической современности. В данном случае мы отсылаем читателя к известной статье А. Булл и Х. Хансена, посвященной описанию трех наиболее значимых для современной Европы режимов функционирования исторической памяти [10].

По их мысли, пространство исторической памяти в Европе на протяжении последних двух веков может быть представлено антагонистическими формами (включая националистическую память), космополитической памятью и памятью агонистической. Говоря об антагонистических формах коллективной памяти, авторы в первую очередь имеют в виду националистическую память, которая стремится провести границу между друзьями и врагами и направлена на формирование и расширение собственной культурной идентичности, где «другие» оказываются исключенными. Такой тип памяти основывается на моноличности и ксенофобии. Подобный тип способствует формированию чувства принадлежности через конфронтацию с чужаками. Более интересный тип исто-

рической памяти, получивший распространение в Евросоюзе в современный период, был назван упомянутыми выше авторами «космополитической памятью» [10. Р. 395]. В данном случае также предполагается оппозиция «добра» и «зла». Однако данные категории имеют более идеологическую ориентацию. Космополитическая память оказывается востребованной в различных формах либеральной демократии и апеллирует к правам человека. В таком случае «другой» для нее – это любое проявление тоталитарной идеологии. Характерными чертами космополитической памяти являются саморефлексивность и диалогизм. Это формирует ее ориентацию на память о жертвах вне зависимости от национальности и государственной принадлежности. Также важной стороной данного режима функционирования памяти является стремление к достижению межсубъектного консенсуса. Итогом последнего оказывается окончание диалога, где стороны выстраивают новые «исторические» отношения. Именно такой проект памяти лежит в основе политики памяти в Евросоюзе сегодня, что хорошо видно в концепциях различных западноевропейских музеев, посвященных общеевропейской истории и культурной памяти.

Однако, как отмечает А.И. Миллер, «принципиально иным был подход к прошлому, сформировавшийся в бывших социалистических странах и в ряде бывших республик СССР. Восточноевропейские страны, заявлявшие о стремлении в Европу, стремились продемонстрировать следование космополитическому канону как общеевропейской ценности. Однако в действительности подход посткоммунистических элит к политике памяти был принципиально иным <...> в центре восточноевропейских нарративов оказался не “критический патриотизм”, а страдания собственной нации. В основе этого различия лежал иной подход к самой природе культурной памяти» [1. С. 224]. Резонно предположить, что данный подход во многом воспроизводит антагонистический режим памяти в терминах зарубежных ученых. Некритическое использование западноевропейского исторического опыта как «референциальной» рамки исторической современности приводит именно к поверхностному копированию политики памяти, идущей в разрез с политиками времени в Восточной Европе, где идея двух тоталитаризмов преподносится как единая и внутренне неразличимая эпоха, а политика современных постсоциалистических государств основывается на идее радикального пространственно-временного дистанцирования от своего недавнего прошлого. В этой связи характерно, что в ряде стран Восточной Европы мы наблюдаем мемориальные войны не только по отношению к Российской Федерации как правопреемнице СССР, но и по отношению к отдельным аспектам собственного прошлого.

И здесь проект политики времени Б. Бевернажа с его апелляцией к идее неравенства во времени и деконструкции Запада как «референциальной» рамки исторической современности оказывается созвучным только появляющемуся сегодня новому режиму функционирования памяти, получившему с легкой руки А. Булл и Х. Хансена наименования агонической

памяти. Такая историческая память предполагает непрекращающийся диалог. В данном случае предельно важно, что дебаты относительно памяти не могут быть прекращены, что позволяет рассматривать борьбу различных памятей в качестве политической борьбы. Таким образом, если комполитическую память интересует «деполитизация» пространства памяти, то агонистическую память направляет стремление к «реполитизации». Такой идеал памяти оказывается близок левым демократическим силам в Европе.

Однако было бы неверным говорить об агонистической памяти как о стремлении к дискуссии ради нее самой. Наоборот, целью данной агонистической памяти является укрепление социальной сплоченности и солидарности, достижение социальной справедливости и стремление демократических левых расширить демократические права граждан. На этом пути агонистическая память не менее эмоциональна, однако она не выстраивает нарратив через противопоставление «своих» и «жертв». Ее интересуют формы социальной солидарности и демократизации. Агонистическая память стремится уйти от моральных противопоставлений в сторону многообразия рассмотрения исторических конфликтов, апеллируя к радикальному историзму и ограничивая себя в моральных оценках прошлого. Стержнем такого отношения оказывается мультиперспективность в оценке национального нарратива и памяти о военных конфликтах. Единственной ценностной рамкой в таком случае оказывается демократическая дискуссия и признание легитимности других участников дебатов. Правда, и здесь некоей безусловной этической рамкой выступает неприятие фальсификации источников, отрицание Холокоста, отрицание геноцидов и избегание памяти о жертвах войн и столкновений последних веков.

Как видится, подобная мультиперспективность в большей мере является желаемым проектом, чем становящейся реальностью. Однако важным условием его становления нам видится именно формирование новой темпоральной перспективы. В таком случае перед Европейским союзом только встает задача согласования/синхронизации различных ритмов политик времени и только потом уже выработки новой версии общеевропейской политики памяти.

Не меньшее значение для понимания природы современных мемориальных войн в Европе имеет и пространственное измерение, связанное с использованием категории «фронтир». В отличие от критики идеи аллохронизма, понятие «фронтир» как исследовательский инструмент оказывается на более благодатной и хорошо разработанной почве пространственного подхода к социальной памяти.

Пространственный подход, представленный в социальных науках П. Бурдьё, а конкретно в исследованиях памяти Д. Оликом, стремится представить социальные явления в качестве определенных точек пространства, взаимодействие между которыми осуществляется посредством социальных практик. Динамичность и трансформативность практик, а также конструктивистская природа самих изучаемых явлений позволили Д. Олику назвать свою методологию «процессо-реляционной» и говорить о своеобразных

«конфигурациях» памяти [11. Р. 106–108]. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что структура социального пространства не является гомогенной, а представляет собой определенный ландшафт, имеющий неравномерный характер, причем неравномерность данного пространства определяется не чисто географическими характеристиками, а распределением символической власти. Пользуясь пространственной терминологией, имеет смысл говорить о различной степени концентрации символических ресурсов, что делает необходимым использование категорий «центр», «периферия», «граница», «магистраль», «узел» и т.д.

Особое место среди данных категорий занимает понятие фронта. Хотя бы уже потому, что фронт, в силу его стратегической значимости, нельзя свести к периферии, как бы далеко он не располагался от формального центра государственной власти в географических координатах. Более того, фронт стоит во многом рассматривать как альтернативный источник символической власти, обладающий существенным потенциалом для ее конвертации в другие виды социального капитала [12. С. 12–13]. Впервые о фронте в качестве особого социокультурного пространства заговорил Ф. Тернер, который придавал именно приграничной территории первенствующее значение в формировании особой американской ментальности [13. Р. 36].

Фронт определяется не особенностями географического положения, а теми культурными и политическими процессами, которые превращают те или иные территории в объект сознательного «окультуривания» со стороны отдельных государств или политических блоков. Иначе говоря, фронтом становится та территория, которая рассматривается в качестве «переднего края» определенной символической экспансии, подобно тому как американцы, в интерпретации Ф. Тернера, периодически перемещали свой фронт по мере включения Дикого Запада в цивилизованное пространство. Но сама специфика пограничного положения формировала определенную двойственность в культурных характеристиках фронта. В векторе символической экспансии фронт рассматривался в качестве территории с крайне высокой степенью рискогенности, что проявлялось как в ситуативности применения правовых норм, так в многообразии субъектов взаимодействия, заставляющем выстраивать сложные поведенческие схемы. Но одновременно фронт выступал и в качестве «пространства возможностей», где реалистичным оказывался сценарий ускоренной социальной мобильности, а сами лакуны социальной иерархии оставляли достаточно высокую вероятность для их заполнения.

Не стоит преуменьшать важность фронта и для самого общества, осуществляющего данную символическую экспансию. Для цивилизации, сдвигающей границу своего влияния на еще не освоенной территории, сам факт существования фронта становится фактором внутренней консолидации, но в условиях фронта этот процесс вызывает диаметрально противоположные последствия, а именно задает индивидуализирующий вектор развития. Вместо осознания

цивилизационного единства происходит раскол даже культурно близкого пространства на отдельные локальные сообщества, пытающиеся выстроить собственные модели идентичности и культурной памяти.

Внимательный читатель может резонно заметить, что представленная попытка рассмотрения содержания понятия «мемориальные войны»/«войны памяти» оказывается достаточно абстрактным анализом его пространственного и темпорального аспектов. Вместе с тем критический пафос современной философии, обозначаемой как «постметафизической» связан не только с преодолением тотализирующего мышления, направленного на поиск Единого, проблематизации познавательных привилегий философии, де-трансцендентализации основных понятий традиционной философии, переходом от философии сознания к философии языка, но и указывает на вплетенность теоретических актов в практические ситуации. В этой связи наш дальнейший анализ категориального понимания мемориальных войн будет связан с исследованием восточноевропейского контекста как наиболее наглядного примера для нашего теоретического анализа.

Специфическое положение Восточной Европы как демаркационной зоны между ведущими державами, а затем и политическими блоками, спорящими за мировое господство, привело в XX в. к тому, что эта территория превратилась в социокультурный фронт, расценивающийся соперничающими субъектами в качестве зоны своих интересов. Распад колониальных империй (при некоторой условности отнесения к подобным государственным образованиям России, на чем, однако, настаивает А. Эткнд [14. Р. 12–19]) привел к тому, что возникшие на территории Восточной Европы независимые государства получили кратковременную передышку как ведения относительно самостоятельной политики, так и для актуализации определенной мемориальной повестки. Так, Польша обратилась к историческому наследию Речи Посполитой, сформулировав не только линию своей преемственности от данного государственного образования, но и обозначив вполне определенные внешнеполитические контуры реализации собственных интересов – проект Ю. Пилсудского «Междуморье».

Вторая мировая война, а затем холодная война между социалистическим и капиталистическим блоками возвратили восточноевропейский регион к пограничному состоянию, точнее говоря, сделали эту территорию своеобразным фронтом «социалистического лагеря». Как и в случае американского фронта, проанализированного Ф. Тернером, восточноевропейское пограничье представляло собой символически значимый регион с точки зрения репрезентации той «цивилизации», частью которой он являлся. Неудивительно поэтому, что для жителей Советского Союза восточноевропейские государства представлялись воплощением относительной свободы или, по крайней мере, пространством для реализации тех мировоззренческих стратегий, которые были недоступны в цивилизационном центре. Вместе с тем определенная демаркация зон культурного и политического влияния между антагонистическими мировыми блоками приводила к отсутствию существенной симво-

лической конкуренции на восточноевропейском пространстве. Даже альтернативные мемориальные дискурсы по поводу Второй мировой войны (например, память румынских или венгерских ветеранов по поводу участия в военных действиях на стороне Германии) пребывали в латентном состоянии, оставаясь скрытыми «местами памяти».

Эпоха «бархатных революций» и последовавший за этим крах Советского Союза в качестве символического центра социалистической «цивилизации» привели, в конечном итоге, к включению восточноевропейских стран в те центростремительные тенденции, которые определялись их западными соседями. Иначе говоря, произошло символическое перекодирование восточноевропейского фронта, когда он, казалось бы, должен был утратить свои пограничные черты, поскольку доминирующим проектом мемориальной политики стал глобалистский проект. Объединение Европы не только в политическом или экономическом, но и в мемориальном смысле представляло собой новую стадию того миропорядка, который был установлен Ялтинскими соглашениями. Но с одной серьезной оговоркой – сохранялся символический смысл победы над нацизмом, но из числа участников договоренностей вычеркивался Советский Союз и ставшая его правопреемницей Российская Федерация. Глобалистский проект политики памяти должен был быть победным проектом, но только в качестве побежденных должны были выступать все тоталитарные режимы, которым, по умолчанию, предписывалась модель вины и ответственности, которая сформировалась в Германии [15]. Проблема состояла только в том, что обратной стороной данного процесса становилась виктимизация, т.е. определение перечня жертв, а сам конкурентный характер выявления виктимизированных коллективных субъектов становился поводом для формирования антагонистического режима политики памяти.

Антагонистический режим политики памяти и возникновение «мемориальных войн»

Н.Е. Копосов обращает внимание на то, что криминализация и виктимизация стали двумя ключевыми элементами политики памяти в 1990-е гг., парадоксальным образом сочетаясь с еще не отброшенным окончательно глобалистским проектом культурной памяти [16. С. 52]. Впрочем, такое противоречие является только кажущимся, поскольку истоки виктимизации были заложены еще в 1960-е гг., когда акцент в восприятии Второй мировой войны, по крайней мере, в европейском и американском общественном сознании окончательно сосредоточился на Холокосте. Выстраиваемая «память жертв» не только обозначила возможность возникновения «истории пропущенного и утраченного», но и продемонстрировала эффективность реализации подобной модели в тех ситуациях, когда подчеркивание жертвенного статуса легитимировало невыгодное положение сообщества, позволяло объяснить особенности его функционирования.

Обратной стороной виктимизации становится криминализация, то есть приписывание исторической

ответственности иному сообществу, что представляется вполне логичным на первый взгляд, ведь если есть жертва, то значит должен быть и преступник. Но на самом деле именно такая логика чревата возникновением и разрастанием мемориальных конфликтов, поскольку позиционирование определенного сообщества в роли преступного всегда ставит вопрос о переносе данной ответственности на то сообщество, которое является политическим правопреемником предыдущего. Иначе говоря, виктимизация естественным образом провоцирует возникновение новой модели политики памяти, которая приходит на смену глобалистскому проекту и которая, в терминологии А. Булл и Х. Хансена, получила название антагонистической [10. Р. 64–65].

Булл и Хансен считают, что авторы глобалистского проекта недооценивали силу сопротивления национальных сообществ и «власть почвы», которая противилась унификации и нейтрализации мемориальных разногласий, существовавших между европейскими сообществами. В отличие от примиренческой политике памяти, концентрировавшейся вокруг травмы Холокоста, противники глобалистского проекта акцентировали внимание на тех воспоминаниях, которые являлись конфликтогенными. В пространственном смысле антагонизм по отношению к глобалистскому проекту зародился именно на периферии европейского сообщества, в тех восточноевропейских странах, которые, как и положено фронтиру, выступили в качестве источника деструкции глобалистских смыслов. Таким образом, восточноевропейский фронт стал тем сегментом общеевропейского пространства, который послужил источником новых националистических течений, сделавших акцент на индивидуальности, а не всеобщности, конфликтности, а не консолидации, жертвенности, а не виновности.

Обратная сторона виктимизации заключалась в конкуренции жертвенных нарративов, не только исключавших возможность достижения политического компромисса, но и раскалывающих восточноевропейский фронт уже в соответствии с внутренними разногласиями относительно степени вины и жертвенности. На смену локальным мемориальным конфликтам в конце 1990-х гг. приходят полноценные символические противостояния, затрагивающие широкий спектр исторических образов и сопровождающиеся созданием специализированных институций. Именно такие конфликты впоследствии получают наименование войн памяти, или мемориальных войн.

Итак, мемориальные войны/войны памяти (memory wars) обозначают социально-политические конфликты, возникающие в результате трансформации современных сообществ и выражающиеся в изменении конфигурации образов прошлого. В каком-то смысле подобное изменение является перманентным процессом, но говорить о войнах памяти можно лишь в той ситуации, когда новые сообщества начинают претендовать на различные, а порой и диаметрально противоположные ре-интерпретации существовавшей исторической концепции. По своей природе любая война памяти представляет собой разновидность символической борьбы (в терминологии П. Бурдьё), по-

сколькo речь идет, в первую очередь, о процессах сборки и пересборки тех исторических символов, которые необходимы для идентификации определенного сообщества.

Мемориальные войны демонстрируют широкий спектр средств борьбы, к которым можно отнести образовательные практики, публичные выступления политиков, художественные перформансы или кинофильмы. Все указанные средства, в терминах А. Эткинды, можно назвать «мягкой памятью» (software), поскольку они не привязаны к конкретному культурному ландшафту, они могут сосуществовать друг с другом, получая альтернативное распространение в различных сообществах и вызывая меньше оснований для возникновения масштабных конфликтов.

Наряду с «мягкой» существует и «жесткая память» (hardware), а именно создание памятников или мемориальных комплексов, которые трудно проигнорировать в процессе символической борьбы именно в силу их устойчивости и постоянства. Жизненный цикл образа в медиапространстве предельно краток, политическое или художественное высказывание может быть опровергнуто, заслонено другими высказываниями или просто выпасть из актуальной повестки, но памятник остается на своем месте, продолжая формировать определенное отношение к прошлому, являясь, тем самым, важным инструментом символической борьбы в сфере истории и исторической памяти.

При этом важно понимать, что памятником является любой топографический объект, содержащий четко артикулированную отсылку к определенным событиям прошлого – не только монумент, но и памятная доска или название улицы/района/города. В процессе повседневного функционирования локального сообщества происходит «обживание» мемориальных объектов, они часто превращаются из носителей определенной идеологии в элемент обыденного ландшафта, становясь объектом не коллективной памяти (collective memory), а памяти коллектива (collected memory). Иначе говоря, памятник обзаводится дополнительными коннотациями, важными исключительно для жителей конкретного населенного пункта и связанными с их биографическими траекториями, происходит помещение мемориального объекта в новый контекст функционирования, часто существенно меняющий исходное значение данного объекта и наделяющий его дополнительными символическими полномочиями.

Г.А. Бордюгов утверждает, что «войны памяти» характерны именно для переходных периодов, когда происходит расставание с общим прошлым, особенно близким» [4. С. 14]. Но кроме временной переходности необходимо возникновение пространственной переходности, т.е. той территории, которая представляет собой определенную «нейтральную полосу» цивилизационного противостояния, где перестают работать наднациональные модели прошлого, а на смену им приходит многообразие локальных национализмов, создающих собственную историческую мифологию.

Мемориальные войны не означают изменение самого прошлого, но они фиксируют изменение современного контекста, в котором одни исторические со-

бытия утрачивают свою роль для коллективной идентичности, а другие кардинально меняют свое значение. Но существенными элементами превращения мемориального конфликта в войну становятся два тесно переплетающихся явления. С одной стороны, хронологическое удлинение конфликта за счет обмена сторонами символическими действиями, направленными на политическую или моральную дискредитацию оппонента. А с другой – создание специализированных институций, ориентированных на поддержание необходимого уровня символического воздействия («институты памяти»).

Фронтир и контр-фронтир: специфика мемориальных войн в Восточной Европе

Исходя из вышесказанного, стоит обратиться к специфике мемориальных войн в условиях восточно-европейского фронта, чтобы проанализировать как условия эскалации конфликтов в сфере памяти, так и перспективы дальнейших внутренних расколов. Смещение символической границы между противостоящими друг другу политическими субъектами на восток, к бывшим границам Советского Союза, привело к изменению той системы координат, в которой функционировал восточноевропейский фронт. Размывание глобалистского проекта в условиях переориентированного на Западную Европу фронта способствовало формированию национальных нарративов, которые, с одной стороны, схожи с точки зрения своего стремления переосмыслить период пребывания в иных цивилизационных координатах (концепция «двух оккупаций»), а с другой – ориентированы на подчеркивание персонально своей идентичности. Как и утверждал Ф. Тернер, сама ситуация фронта способствует индивидуализации, в пограничных условиях даже господствующий нарратив начинает распадаться на локальные практики, которые, хотя и соответствуют общим символическим контурам, но отличаются значительным разнообразием [13. Р. 120].

Как отмечает А.И. Миллер, «по всей Восточной Европе успешно осуществлен “экспорт вины”, что разительно противоречит прежней европейской культуре памяти, постепенно приучавшей людей думать о собственной ответственности» [17. С. 96]. Но если в Германии подобная политика оказалась настолько успешной, что дала основание для попыток формирования общеевропейской памяти, то ситуация восточноевропейского фронта продемонстрировала искажение исходных оснований виктимизации. Вместо символического признания коллективной ответственности возникли процедуры предписывания вины, причем не только по отношению к Российской Федерации, но и по отношению к другим странам данного региона. Можно говорить о двух важных элементах, которые способствовали превращению локальных мемориальных конфликтов в полноценные мемориальные войны, а именно о юрисдикции и институализации.

Юрисдикция памяти проявляется в принятии законов (начало которым положил знаменитый закон Гайсо во Франции), направленных на регулирование отношений к прошлому. Но защита ключевых событий

Второй мировой войны (прежде всего Холокоста) от искажений и фальсификаций достаточно быстро выродилась в правовое обоснование невозможности критики большинства восточноевропейских государств за их поведение в годы войны. Показательно, что 2008 г. именно французские историки выступили против подобных законов, выпустив «Воззвание из Блуа», в котором обозначили право исследователя на интерпретацию прошлого, при условии, что данная интерпретация соответствует критериям научности. В любом случае целью данного воззвания была попытка замены юридического регулирования этическим. Но для политических элит восточноевропейского фронта отказ от юридикации памяти, по сути, оказывается равнозначен поражению в мемориальной войне, поскольку делает уязвимой государственную позицию для внутренней критики.

Естественным продолжением юридикации является институализация памяти, которая проявляется в создании специализированных учреждений, призванных отстаивать государственную трактовку прошлого. Показательно, что значительная часть подобных комиссий или институтов берет свое начало еще в социалистическое время, когда создавались аналогичные органы для расследования преступлений, совершенных во время Второй мировой войны. Но только в 1990-е гг. эти организации стали приобретать внешнеполитическую направленность, выдвигая в качестве своих целей необходимость отстаивания национальной памяти и защиту этой памяти от посягательств. Институализация памяти становится окончательным фактором, способствующим превращению конфликтов в мемориальные войны, поскольку вместо символической конкуренции интерпретаций конкретного события начинается поиск все новых и новых исторических оснований, призванных продемонстрировать статус «жертвы».

Таким образом, повторный возврат к ситуации фронта способствует эскалации мемориальных войн, причем нелинейность самой пограничной ситуации проявляется в гибридном характере подобных войн. Иначе говоря, фронт еще не означает четко выделенной линии фронта, а, наоборот, демонстрирует разнообразие ситуативных коалиций относительно тех или иных образов прошлого, особенно имеющих травматический характер. Например, важным элементом в символическом противостоянии между Польшей и Украиной является «Волынская резня», а отношения между Польшей и Беларусью существенно осложнились в 2019 г. в связи с оправданием некоторыми польскими историками военных преступлений, совершенных национальным героем Польши Ромуальдом Райсом.

Дополнительную нелинейность мемориальным войнам в Восточной Европе придает создание «непризнанных республик», сопровождаемое возникновением и соответствующими мемориальными нарративов, переформатирующих советский опыт в контексте новых экономических и культурных реалий. Из советского опыта, безусловно, востребованной остается тема Великой Отечественной войны, но даже она начинает звучать дифференцированно – в большей

степени, в тех регионах (ДНР и ЛНР), на территории которых непосредственно велись военные действия. Возникает даже своеобразная контаминация, учитываемая совпадение мест боевых действий – событий времен Великой Отечественной войны и 2014 г., что усиливает символический эффект. Но сложность в случае непризнанных государств заключается во внутренней конкуренции различных мнемонических нарративов, отсылающих не только к советскому, но и к имперскому прошлому (образ Новороссии).

Таким образом, теоретическое осмысление понятия «войны памяти»/«мемориальные войны» актуализирует анализ данного понятия не только с точки зрения дискурса трансформации современных войн, но и в рамках уточнения базовых философских категорий понимания мемориальных войн в контексте соответствующих теоретико-методологических рамок. В рамках данной статьи авторы постарались проанализировать указанные теоретико-методологические рамки, в рамках проектов политики времени Б. Бевернажа и понятия фронта Ф. Тернера.

Использование идей Б. Бевернажа позволило объяснить природу современных мемориальных войн в Европе, истоки которых связаны с попыткой переноса на страны Восточной Европы после 1989 г. западноевропейского проекта «космополитической» памяти, где Западная Европа оказывается своеобразной «референциальной» рамкой исторической современности. Некритическое использование западноевропейского исторического опыта как «референциальной» рамки исторической современности приводит именно к поверхностному копированию политики памяти, идущей в разрез с политиками времени в Восточной Европе, где идея двух тоталитаризмов преподносится как единая и внутренне неразличимая эпоха, а политика современных постсоциалистических государств основывается на идее радикального пространственно-временного дистанцирования от своего недавнего прошлого.

В таком случае важным условием становления нового агонического подхода к общеевропейской памяти и преодоления мемориальных войн оказывается формирование новой темпоральной перспективы, когда перед Европейским союзом только встает задача согласования/синхронизации различных ритмов политик времени и только потом уже выработки новой версии общеевропейской политики памяти. Еще более продуктивным для анализа содержания и форм современных мемориальных войн является обращение к пространственному подходу и использование понятия фронта.

Можно констатировать, что восточноевропейский фронт в конце XX в. стал не только местом вновь активизирующегося символического противостояния между Западной Европой и постсоветской Россией, но и выступил в качестве источника возникновения мемориальных войн, которые являются разновидностью символической борьбы. Идеологической предпосылкой данного явления стал дискурс виктимизации, выработанный в рамках мемориализации Холокоста, но получивший неожиданное преломление в условиях индивидуализации и национализации трансформирующих свою историческую идентичность восточноевро-

пейских государств. Новым элементом, усложняющим итак нелинейную структуру мемориальных войн, втягивающих в себя большинство государств Восточной Европы, становится возникновение «непризнанных» государств. На этом фоне юридизация и институционализация мемориальных конфликтов способствовали превращению их в полноценные мемориальные войны.

Таким образом, методологическое использование проектов политики времени Б. Бевернажа и пространственного подхода позволяет задать новую рамку для анализа тех политических и культурных процессов, разворачивающихся в Восточной Европе, а использование понятия восточноевропейского фронта локализует сферу возникновения и распространения мемориальных войн.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миллер А.И. Вторая мировая война в «войнах памяти» // Новое прошлое. 2020. № 4. С. 222–231.
2. Барабанов О.Н., Пахалюк К.А., Уль М. Не забудем, но простим? Образ войны в культуре и исторической памяти. М. : Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2020. 48 с.
3. Куманьков А.Д. Война, или в Плену насилия. СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 164 с.
4. Бордюгов Г. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М. : АИРО-XXI, 2011. 256 с.
5. Малинова О.Ю. Темпоральность и другие свойства символического в политике // Символическая политика: сб. науч. тр. Вып. 2. Споры о прошлом как проектирование будущего. М. : ИНИОН РАН, 2014. С. 5–18.
6. Müller J.-W. Introduction: The Power of Memory, the Memory of Power and the Power over Memory // Memory and Power in Post-war Europe: Studies in the Presence of the past / ed. by J.-W. Müller. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2004. P. 1–35.
7. Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989. 389 s.
8. Fabian J. Time and the Other. How anthropology makes its object. N.Y. : Columbia University Press, 2002. 272 p.
9. Бевернаж Б. Аллохронизм, равенство во времени и современность. Критика проекта радикальной современности Йоханнеса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени // Социология власти. 2016. Т. 28, № 2. С. 174–204.
10. Bull A., Hansen H.L. On Agonistic Memory // Memory Studies. 2016. № 9 (4). P. 390–404.
11. Olick J., Robbins J. Social memory studies: From «collective memory» to the historical sociology of mnemonic // Annual review of sociology. 1998. Vol. 24. P. 105–140.
12. Аникин Д.А. Проблематика фронта в исследованиях культурной памяти // Журнал фронтальных исследований. 2020. Т. 5, № 2. С. 12–25.
13. Turner F.J. The Frontier in American History. New York : Holt, 1921. 312 p.
14. Etkind A. Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge : Polity Press, 2011. 448 p.
15. Rigney A. Transforming Memory and the European Project // New Literary History. 2012. № 43 (4). P. 607–628.
16. Копосов Н.Е. Память строгого режима. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 320 с.
17. Миллер А.И. Рост значимости институционального фактора в политике памяти – причины и последствия // Политика. 2019. № 3. С. 87–102.

Статья представлена научной редакцией «Философия» 22 марта 2021 г.

Memory Wars in the East European Frontier: In Search of Research Methodology

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2021, 466, 55–63.

DOI: 10.17223/15617793/466/6

Daniil A. Anikin, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: dandee@list.ru

Andrey A. Linchenko, Lipetsk State Technical University (Lipetsk, Russian Federation); Lipetsk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Lipetsk, Russian Federation). E-mail: AALinchenko@fa.ru

Keywords: frontier; politics of memory; memory wars; symbolic resource; conflict; allochronism; historical non-modernity.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Expert Institute for Social Research, Project No. 20-011-31600.18-511-00001.

Within the framework of this article, the theoretical and methodological framework of the philosophical interpretation of the concept “memory wars” was analyzed. In the context of criticism of allochronism and the project of the politics of time by B. Bevernage, as well as the concept of the frontier by F. Turner, the space-time aspects of the content of memory wars were comprehended. The use of Bevernage’s ideas made it possible to explain the nature of modern memory wars in Europe. The origins of these wars are associated with an attempt to transfer the Western European project of “cosmopolitan” memory, in which Western Europe turns out to be a kind of a “referential” framework of historical modernity, to the countries of Eastern Europe after 1989. The uncritical use of Western European historical experience as a “reference” leads to a superficial copying of the politics of memory, which runs counter to the politics of the time in Eastern Europe. In Eastern Europe, the idea of two totalitarianisms is presented as a single and internally indistinguishable era, and the politics of modern post-socialist states are based on the idea of a radical spatio-temporal distancing from their recent past. The article analyzes the issue of the specifics of the Eastern European frontier, the conditions for its emergence and the impact on modern forms of implementation of the politics of memory. The frontier arises as a result of the collapse of the colonial empires and becomes a space of symbolic struggle, first between the USSR and Germany, and then between the socialist and capitalist blocs. The crisis of the globalist project of the politics of memory and the transfer of the German model of victimization to the territory of the Eastern European frontier leads to the competition of sacrificial narratives and the escalation of memorial conflicts, turning into full-fledged memory wars. The hybrid nature of the antagonistic politics of memory in the conditions of the frontier leads to the fact that not only the socialist past, but also the national trauma of individual states becomes the subject of memory wars. The increasing complexity of the mnemonic structure of the frontier is associated with the emergence of a number of unrecognized states, whose memory politics, in contrast to the national discourses of Eastern European states, is based on a synthesis of the Soviet legacy and individual elements of the imperial past.

REFERENCES

1. Miller, A.I. (2020) Second World War in the “Wars of Memory”. *Novoe proshloe – The New Past*. 4. pp. 222–231. (In Russian). DOI: 10.18522/2500-3224-2020-4-222-231
2. Barabanov, O.N., Pakhalyuk, K.A. & Ul', M. (2020) *Ne zabudem, no prostim? Obraz voyny v kul'ture i istoricheskoy pamyati* [We won't forget yet will forgive? The image of war in culture and in historical memory]. Moscow: Doklad Mezhdunarodnogo diskussionnogo kluba “Valday”.
3. Kuman'kov, A.D. (2019) *Voyna, ili v Plenu nasiliya* [War, or In the captivity of violence]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg.
4. Bordyugov, G. (2011) “*Voyny pamyati*” na postsovetskom prostranstve [Memory wars in the post-Soviet space]. Moscow: AIRO-XXI.
5. Malinova, O.Yu. (2014) Temporal'nost' i drugie svoystva simvolicheskogo v politike [Temporality and other features of the symbolic in politics]. In: *Simvolicheskaya politika* [Symbolic politics]. Vol. 2. Moscow: INION RAN. pp. 5–18.
6. Müller, J.-W. (2004) Introduction: The Power of Memory, the Memory of Power and the Power over Memory. In: Müller, J.-W. (ed.) *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*. Cambridge: Cambridge Univ. Press. pp. 1–35.
7. Koselleck, R. (1989) *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
8. Fabian, J. (2002) *Time and the Other. How anthropology makes its object*. N.Y.: Columbia University Press.
9. Bevernage, B. (2016) Against Coevalness: An Engaging Critique of Johannes Fabian's Analysis of the Politics of Time. *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power*. 28 (2). pp. 174–204. (In Russian).
10. Bull, A. & Hansen, H.L. (2016) On Agonistic Memory. *Memory Studies*. 9 (4). pp. 390–404.
11. Olick, J. & Robbins, J. (1998) Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic. *Annual Review of Sociology*. 24. pp. 105–140.
12. Anikin, D.A. (2020) Problematika frontira v issledovaniyakh kul'turnoy pamyati [Problematics of frontier in cultural memory studies]. *Zhurnal frontirnykh issledovaniy – Journal of Frontier Studies*. 5 (2). pp. 12–25. DOI:10.46539/jfs.v5i2.201
13. Turner, F.J. (1921) *The Frontier in American History*. New York: Holt.
14. Etkind, A. (2011) *Internal Colonization: Russia's Imperial Experience*. Cambridge: Polity Press.
15. Rigney, A. (2012) Transforming Memory and the European Project. *New Literary History*. 43 (4). pp. 607–628.
16. Koposov, N.E. (2011) *Pamyat' strogogo rezhima* [Memory of the strict regime]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
17. Miller, A.I. (2019) Growth of the Significance of Institutional Factor in Politics of Memory — Causes and Implications. *Politiya – Politeia*. 3. pp. 87–102. (In Russian).

Received: 22 March 2021